

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

# Детство Тёмы



Школьная библиотека (Детская литература)

Николай Гарин-Михайловский  
**Детство Тёмы**

Издательство «Детская литература»

1892

## **Гарин-Михайловский Н. Г.**

Детство Тёмы / Н. Г. Гарин-Михайловский — Издательство «Детская литература», 1892 — (Школьная библиотека (Детская литература))

В этой повести автор увлекательно, «без утайки и рисовки» рассказывает о своем детстве, пережитых им и запомнившихся на всю жизнь радостях, проступках, мечтах. Для среднего школьного возраста.

© Гарин-Михайловский Н. Г., 1892

© Издательство «Детская  
литература», 1892

## Содержание

«Детство Тёмы» и его автор	7
Детство Тёмы	11
I. Неудачный день	12
II. Наказание	26
III. Прощение	29
Конец ознакомительного фрагмента.	35

**Николай Георгиевич Гарин-Михайловский**  
**Детство Тёмы**  
*Автобиографическая повесть*



A large, stylized handwritten signature in black ink, reading "Н. Г. Гарин-Михайловский". The signature is written in a cursive style with a prominent horizontal stroke at the top.

*1852–1906*

## «Детство Тёмы» и его автор

### 1

Однажды, гуляя в Сызрани по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин увидел мальчика, удивившего рыбу. Удил мальчик неудачно: ерши клевали жадно, но два из трех срывались с крючка.

Писатель заговорил с мальчиком. Оказалось, что тот ловил не на крючок, а на медную булавку.

С виду маленький рыболов был заморенным, тщедушным. Гарин спросил его, сколько ему лет, с кем он живет, где учится.

Тот ответил, что ему одиннадцать лет, что живет он у дедушки, часовщика, учится часовому ремеслу.

Когда мальчик свернул удочки, Гарин вызвался его проводить, сказал, что хочет познакомиться с его дедом.

Магазин деда был плохоньким, грязным, заваленным всевозможным металлическим ломом: старик чинил не только часы, но и горелки ламп, самоварные краны.

Гарину захотелось помочь его новым знакомым. Но он не решился предложить часовщику денег, боясь обидеть старого человека. Внезапно ему пришло на ум, как он может оказать помощь. Он сказал деду мальчика, что хотел бы купить все часы, какие у него есть. Старик ответил, что может продать десять стенных часов. Стенные так стенные!

Гарин расплатился с часовщиком и, написав на листе отрывного календаря адрес, по которому тот должен был доставить часы, вручил ему листок. На листке было написано: «Самарская газета. Пешкову-Горькому».

\* \* \*

Когда в одно воскресное утро в помещение «Самарской газеты» сторож и возчик в сопровождении часовщика из Сызрани внесли ящик с часами, Горький удивился. Зачем ему часы? Да еще стенные? И кто это ездит из Самары в Сызрань покупать часы?

Но не принять их он не мог. Он расписался на том самом листке, на котором был написан его адрес, в их получении и попросил сторожа убрать ящик в соседнюю комнату.

Через несколько дней в редакцию вошел прямо с дороги Гарин – усталый, запыленный, но, как обычно, бодрый.

– Это вы прислали мне часы? – было первым вопросом Горького.

– Ах да! Я, я, – ответил Гарин и в свою очередь спросил: – Что вы думаете с ними делать? Мне они совершенно не нужны.

И тут же, не дожидаясь ответа, рассказал их историю.

– У меня бывают, – заканчивая рассказ, смущенно, словно в чем-то оправдываясь, сказал Гарин, – припадочки сентиментальности... А мальчишке вчера... послал книг.

И минутой позже уже вполне деловито:

– Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, пришлю за ними. Можно отдать их рабочим на ветке.

«История с часами» – одна из многочисленных историй, «походя», по выражению Горького, создававшихся Гариним. Она не случайно в подробностях рассказана Горьким в его вос-

поминаниях о Гарине: в ней он весь – деятельный, энергичный, полный сердечного интереса к окружающим, желания радовать людей.

## 2

Николай Георгиевич Михайловский – Н. Гарин его псевдоним – родился в 1852 году в семье генерала. Детские и отроческие годы его прошли на юге, в Одессе. Здесь он окончил гимназию, отсюда девятнадцатилетним юношей переехал в Петербург, где вскоре поступил в Институт инженеров путей сообщения.

«Неиссякаемо бодрым человеком», «поэтом труда» называет его А. М. Горький. За свою жизнь Гарин исколесил почти всю Россию и испытал свои силы в самых разных областях. Студентом он был кочегаром на паровозе; став инженером, строил дороги и проводил железнодорожные изыскания на юге, на севере и в центральных областях России; занимался общественной и издательской деятельностью, сельским хозяйством.

Три с лишним года он безвыездно живет в деревне, пытаясь наладить образцовое, на основе последних достижений современной ему науки, хозяйство и прилагая немало усилий к тому, чтобы облегчить участь крестьян-бедняков – вырвать их из кулацкой кабалы.

Гарин не делал в своей жизни одного: не предавался праздности. Он не терпел ничего неделанья, безделья, покоя мысли. «Ему мало было, – говорит о нем один из близко знавших его писателей, – двадцати четырех часов... и нередко месяцами он спал два-три часа в сутки, для того чтобы увеличить количество жизни».

Человек дела, изобретательный инженер-практик, Гарин был и художником-мечтателем, и притом мечтателем, умевшим осуществлять многие из своих, казалось бы, несбыточных фантазий. Он был таким и в литературе, и в инженерской деятельности, и в повседневной жизни.

... Подходил Новый год, начинались разговоры о елках. И вот на лесной поляне в окружении заиндевевших деревьев Гариным уже устраивается необычная «елка». Огромная ель увешивается украшениями, зажигаются свечи, раскладываются вокруг нее костры, и устраивается веселый, неизгладимый из памяти его участников зимний пикник. На этот пикник Николаем Георгиевичем приглашаются рабочие с железнодорожной ветки, сотрудники, знакомые крестьяне из окрестных деревень.

«Примерами подобных фантазий, вспыхивавших, как огни, и немедленно приводившихся в исполнение, – говорит тот же автор воспоминаний о Гарине, – можно исписать целые страницы».

Той же неумной, сказочной фантазией отличались и его деловые проекты и предложения. Гарин мечтал не просто проложить железнодорожную магистраль через Крымский полуостров, а украсить ее поражающей красоты арками и башнями, замками и водопадом – превратить ее в «беспримерный памятник».

Внимательный к окружающим, Николай Георгиевич всегда с особым вниманием и заботой относился к детям, которых он хорошо знал и понимал. У него самого было четырнадцать ребятишек: одиннадцать своих и трое приемных, которых он так же любил, как и собственных.

Ранней поре жизни, детству, посвящена Гариным первая его повесть «Детство Тёмы». Впервые она была издана более полувека назад, в 1892 году, но и сегодня она с первых же строк захватывает, увлекает.

«Маленький восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения.

Всего несколько минут тому назад...»

Кто из читателей, прочитав эти строки, не заинтересуется рассказом, не захочет узнать, почему сломанный цветок наполнил Тёму чувством отчаяния?

Но «Детство Тёмы» увлекает не только тем, что писатель с первых же строк заинтересовывает судьбами героев. Всякий, кто ни откроет эту повесть, непременно найдет в ней страницы, написанные как бы о нем самом, о тех волнениях и радостях, которые сам читатель испытывает или испытывал уже в подобных условиях.

«Детство Тёмы» – повесть автобиографическая. В ней писатель рассказал о собственном детстве, о пережитых им самим и запомнившихся ему на всю жизнь детских своих радостях, проступках, мечтах. История с лошадью, со спасением Жучки и многие другие были на самом деле. Гарин говорил: «В „Детстве Тёмы“ вы прочтете много интересного из моей жизни. Там нет и тени вымысла, я все рассказал без утайки, без рисовки».

В «Детстве Тёмы» Гарин рисует жизнь Тёмы не только в кругу семьи, но и в гимназии. Современные школьники, прочитав главы, рассказывающие о гимназии, живо представят себе старую школу, где никому не было, по существу, дела до интересов и судеб учащихся, где между учениками и гимназическим начальством существовала постоянная вражда, а уроки вызывали у детей чаще всего лишь чувство томительной скуки.

Гарин – автор не одной книги. Им написано немало рассказов, повестей и очерков, а также интересная для взрослых и для юных читателей книга «Корейские сказки». Сказки эти были записаны Гариным в самой Корее, куда он приехал осенью 1898 года с экспедицией Географического общества.

Трудолюбивый и гостеприимный народ Кореи, с которым писатель близко познакомился в ту осень, крепко ему понравился. Понравились ему и мудрые, добрые корейские сказки.

«Я слушал эти сказки, – рассказывал позже Гарин, – то после гостеприимного ужина, то во время отдыха на перевалах... Мой переводчик, учитель по специальности, переводил; я быстро, фраза за фразой, записывал, стараясь сохранить простоту речи, никогда не прибавляя ничего своего». Николай Георгиевич и сам был талантливым рассказчиком и сочинителем сказок. Вспоминая дни, проведенные с Гариным на даче вблизи моря, в Кастрополе, писатель Куприн рассказывает:

«По вечерам мы долго большим обществом сидели у него на балконе, не зажигая огня, в темных сумерках, когда кричали цикады, благоухала акация и блестели при луне листья магнолий. И вот тут-то иногда Николай Георгиевич импровизировал свои прелестные детские сказки. Он говорил их тихим голосом, медленно, с оттенком недоумения. И мне никогда не забыть этих очаровательных минут, когда я присутствовал при том, как рождается мысль и как облекается она в нежные, изящные формы».

Сказки Гарина «Книжка чеков», «Курочка Куд», «История одной девочки» и сегодня пользуются любовью читателей. Они говорят о том, как светло на сердце у тех, кто отзывчив к чужой беде, добр, храбр, и как невесело и одиноко тем, кого никто не любит, кто преисполнен сомнений, зависти.

Николай Георгиевич сам никогда не страдал сомнением и не знал чувства зависти. Он завидовал лишь одному: возможности без помех трудиться, завидовал людям, которые будут жить не при современном ему царском строе.

В 1905 году Гарин посетил Горького, жившего в то время в Финляндии. Ему необходимо было увидеть Горького по одному важному делу.

«Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! – сказал он в то свидание Алексею Максимовичу. – Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас».

Среди рисунков замечательного русского художника Ильи Ефимовича Репина, выполненных им летом 1905 года, есть рисунок, запечатлевший чтение Горьким в Куоккале, в Фин-

ляндии, его пьесы «Дети солнца». Среди слушающих пьесу мы узнаем Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. Этот выполненный рукой выдающегося русского художника портрет – последний из дошедших до нас портретов писателя. Он скончался через год, осенью 1906 года. Только внезапная смерть – он умер среди дел, на редакционном совещании, – прервала его многообразную кипучую деятельность.

Гарин умер бедным человеком, его семье не осталось никаких средств.

Неутомимый труженик, Николай Георгиевич всю жизнь хотел быть полезным родному народу. Это стремление руководило им и когда он изыскивал способы в наиболее сжатые сроки и как можно дешевле проложить новый железнодорожный путь, и когда пытался улучшить жизнь крестьянина-бедняка, и когда покупал часы у незнакомого часовщика из Сызрани, и когда в качестве то публициста, то писателя брался за перо.

«Нет выше счастья, как работать во славу своей отчизны и сознавать, что работой этой приносишь не воображаемую, а действительную пользу», – говорит, выражая мысли самого автора, один из героев его первого рассказа – инженер Кольцов.

Николай Георгиевич был твердо убежден во всепобеждающей силе труда, человеческого разума, в искоренимости всяческого зла. Эта вера сообщала светлый, праздничный тон даже тем из его книг, которые рассказывали о тяжелом, печальном.

«Общий тон его книг, – говорит А. М. Горький, – легкий, праздничный».

Празднична, несмотря на многое грустное и тягостное, изображенное в ней, и его повесть «Детство Тёмы» – это «необыкновенно нежная, яркая и ароматная, по словам одного из его современников, книга», книга, от которой трудно оторваться, раз начав ее читать, а прочтя, нельзя забыть.

*И. Воробьева*

## Детство Тёмы

### *Автобиографическая повесть*



## I. Неудачный день



Маленький восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения.

Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, помолился Богу, напился чаю, причем съел с аппетитом два куска хлеба с маслом, одним словом – добросовестным образом исполнив все лежавшие на нем обязанности, вышел через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. В саду так хорошо было.

Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра, и с наслаждением осматривался.

Вдруг... Его сердце от радости и наслаждения сильно забилося... Любимый папин цветок, над которым он столько возился, наконец расцвел! Еще вчера папа внимательно его осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести. И что это за роскошный, что это за прекрасный цветок! Никогда никто, конечно, подобного не видал. Папа говорит, что когда герр<sup>1</sup> Готлиб (главный садовник ботанического сада) увидит, то у него слюнки потекут. Но самое большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он, Тёма, первый увидел, что цветок расцвел. Он вбежит в столовую и крикнет во все горло:

– Махровый расцвел!

Папа бросит чай и с чубуком в руках, в своем военном вицмундире, сейчас же пройдет в сад. Он, Тёма, будет бежать впереди и беспрестанно оглядываться: радуется ли папа?

Папа, наверное, сейчас же поедет к герру Готлибу, может, прикажет запрячь Гнедко, которого только что привели из деревни. Еремей (кучер, он же и дворник), высокий, одноглазый,

---

<sup>1</sup> Герр – господин; обращение к мужчине (нем.).

добродушный и ленивый хохол<sup>2</sup>, Еремей говорит, что Гнедко бежит так шибко, что ни одна лошадь в городе его не догонит. Еремей, конечно, знает это: он каждый день ездит на Гнедке верхом на водопой. И вот сегодня в первый раз запрягут Гнедко. Гнедко побежит скоро-скоро! Все погонятся за ним – куда! Гнедка и след простыл.

А вдруг папа и Тёму возьмет с собой? Какое счастье! Восторг переполняет маленькое сердце Тёмы. От мысли, что все это счастье произошло от этого чудного, так неожиданно распустившегося цветка, в Тёме просыпается нежное чувство к цветку.

– Ми-и-ленький! – говорит он, приседая на корточки, и тянется к нему губами.

Его поза самая неудобная и неустойчивая. Он теряет равновесие, протягивает руки, и...

Все погибло! Боже мой, но как же это случилось?! Может быть, можно поправить? Ведь это случилось оттого, что он не удержался, упал. Если б он немножко, вот сюда, уперся рукой, цветок остался бы целым. Ведь это одно мгновение, одна секунда... Постойте!.. Но время не стоит. Тёма чувствует, что его точно кружит что-то, что-то точно вырывает у него то, что хотел бы он удержать, и уносит на своих крыльях – уносит совершившийся факт, оставляя Тёму одного с ужасным сознанием непоправимости этого совершившегося факта. Какой резкой, острой чертой, какой страшной, неумолимой, беспощадной силой оторвало его вдруг сразу от всего!

Что из того, что так весело поют птички, что сквозь густую листву пробивается солнце, играя на мягкой земле веселыми светлыми пятнышками, что беззаботная мошка ползет по лепестку, вот остановилась, надувается, выпускает свои крылышки и собирается лететь куда-то, навстречу нежному, ясному дню?

Что из того, что когда-нибудь будет опять сверкать такое же веселое утро, которое он не испортит, как сегодня? Тогда будет другой мальчик, счастливый, умный, довольный. Чтоб добраться до этого другого, надо пройти бездну, разделяющую его от этого другого, надо пережить что-то страшное, ужасное. О, что бы он дал, чтобы все вдруг остановилось, чтобы всегда было это свежее, яркое утро, чтобы папа и мама всегда спали... Боже мой, отчего он такой несчастный? Отчего над ним тяготеет какой-то вечный неумолимый рок? Отчего он всегда хочет так хорошо, а выходит все так скверно и гадко?... О, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого. Он хочет ее понять, он будет строг и беспристрастен к себе... Он действительно дурной мальчик. Он виноват, и он должен искупить свою вину. Он заслужил наказание, и пусть его накажут. Что же делать? И он знает причину, он нашел ее! Всею виною его гадкие, скверные руки! Ведь он не хотел, руки сделали, и всегда руки. И он придет к отцу и прямо скажет ему:

– Папа, зачем тебе сердиться даром, я знаю теперь хорошо, кто виноват, – мои руки. Отруби мне их, и я всегда буду добрый, хороший мальчик. Потому что я люблю и тебя, и маму, и всех люблю, а руки мои делают так, что я как будто никого не люблю. Мне ни капли их не жалко.

Мальчику кажется, что его доводы так убедительны, так чистосердечны и ясны, что они должны подействовать.

Но цветок по-прежнему лежит на земле... Время идет... Вот отец, встающий раньше матери, покажется, увидит, все сразу поймет, загадочно посмотрит на сына и, ни слова не говоря, возьмет его за руку и поведет... Поведет, чтоб не разбудить мать, не через террасу, а через парадный ход, прямо в свой кабинет. Затворится большая дверь, и он останется с глазу на глаз с ним.

Ах, какой он страшный, какое нехорошее у него лицо... И зачем он молчит, не говорит ничего?! Зачем он расстегивает свой мундир?! Какой противный этот желтенький узенький ремешок, который виднеется в складке синих штанов его. Тёма стоит и, точно очарованный,

---

<sup>2</sup> Хохол – принятое в старину пренебрежительное название украинцев.

впился в этот ремешок. Зачем же он стоит? Он свободен, его никто не держит, он может убежать... Никуда он не убежит. Он будет мучительно-тоскливо ждать. Отец не спеша снимет этот гадкий ремешок, сложит вдвое, посмотрит на сына; лицо отца нальется кровью, и почувствует, бесконечно сильно почувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может питать и ненависть, и страх, и животный ужас, когда прикоснутся к его щекам мягкие, теплые ляжки отца, в которых зажметса голова мальчика.

Маленький Тёма, бледный, с широко раскрытыми глазами, стоял перед сломанным цветком, и все муки, весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове. Все его способности сосредоточились теперь на том, чтобы найти выход, выход во что бы то ни стало. Какой-то шорох послышался ему по направлению от террасы. Быстро, прежде чем что-нибудь сообразить, нога мальчика решительно ступает на грядку, он хватается за цветок и втискивает его в землю рядом с корнем. Для чего? Смутная надежда обмануть? Протянуть время, пока проснется мать, объяснить ей, как все это случилось, и тем отвлечь предстоящую грозу? Ничего ясного не соображает Тёма; он опрометью, точно его преследуют все те ведьмы и волшебники, о которых рассказывает ему по вечерам няня, убегает от злополучного места, минуя страшную теперь для него террасу, – террасу, где вдруг он может увидеть грозную фигуру отца, который, конечно, по одному его виду сейчас же поймет, в чем дело.

Он бежит, и ноги бессознательно направляют его подальше от опасности. Он видит между деревьями большую площадку, посреди которой устроены качели и гимнастика и где возвышается высокий, выкрашенный зеленой краской столб для гигантских шагов, видит сестер, бонну-немку<sup>3</sup>. Он делает вольт<sup>4</sup> в сторону, незаметно пригнувшись, торопливо пробегает в виноградник, огибает большой каменный сарай, выходящий в сад своими глухими стенами, перелезает ограду, отделяющую сад от двора, и наконец благополучно достигает кухни.

Здесь он только свободно вздыхает.

В закоптелой, обширной, но низкой кухне, устроенной в подвальном этаже, освещенной сверху маленькими окнами, все спокойно, все идет своим чередом.

Повар в грязном белом фартуке, белокурый, ленивый, молодой, из бывших крепостных, Аким, лениво собирается разводить плиту. Ему не хочется приниматься за скучную ежедневную работу, он тянет, хлопает дверцами печки, заглядывает в духовой ящик, внимательно осматривает, точно в первый раз видит, конфорки, фыркает, брызжит, двадцать раз их то сдвигает, то опять ставит на место...

На большом некрашеном столе в беспорядке валяются грязные тарелки. Горничная Таня, молодая девушка с длинной, еще не чесанной косой, торопливо обглаживает какую-то вчерашнюю холодную кость. Еремей в углу молча возится с концами упряжных ремней, бесконечно налаживая и пригоняя конец к концу, собираясь сшивать их приготовленными шилом и дратвой. Его жена, Настасья, толстая и грязная судомойка, громко и сердито перемывает тарелки, энергично хватая их со дна дымящейся теплой лоханки. Вытертые тарелки с шумом летят на рядом стоящую скамью. Рукава Настасьи засучены; здоровое белое тело на руках трясется при всяком ее движении, губы плотно сжаты, глаза сосредоточены и мечут искры.

Ровесник Тёмы – произведение Настасьи и Еремея – толстопузый рябой Иоська сидит на кровати, болтает ногами и пристаёт к матери, чтобы та дала ему грошик.

– Не дам, не дам, сто чертив твоей мамой! – кричит отчаянно Настасья и еще плотнее стискивает свои губы, еще энергичнее сверкает глазами.

– Ге?! – тянет Иоська плаксивую монотонную ноту. – Дай грошик.

– Отчипысь, прокляте! Будь ты сказано! – кричит Настасья, точно ее режут.

<sup>3</sup> Бонна (*фр.*) – воспитательница маленьких детей в богатых семьях.

<sup>4</sup> Вольт – здесь: крутой поворот.

Тёма с завистью смотрит на эти простые, несложные отношения. Вот она, кажется, и кричит и бранится, а не боится ее Иоська. Если мать и побить его захочет, – а Иоська отлично знает, когда она этого захочет, – он, вырвавшись, убежит во двор. Если мать и бросится за ним и, не догнав, станет кричать своим громким голосом, так кричать, что живот ее то и дело будет подпрыгивать кверху: «Ходи сюда, бисова дытына!», то «бисова дытына» понимает, что ходить не следует, потому что его побьют, а так как ему именно этого и не хочется, то он и не идет, но и не скрывается, инстинктивно сознавая, что очень раздражать не следует. Стоит Иоська где-нибудь поодаль и хнычет, лениво и притворно, а сам зорко следит за всяким движением матери; ноги у него расставлены, сам наклонился вперед, вот-вот готов дать нового стрекача.

Мать постоит, постоит, еще сто чертей посулит себе и уйдет в кухню. Иоська фланирует<sup>5</sup> развлекается, шалит, но голод заставляет его наконец возвратиться в кухню. Подойдет к двери и пустит пробный шар:

– Ге?!

Это нечто среднее между нахальным требованием и просьбой о помиловании, между хныканьем и криком.

– Только взойды, бодай тебе чертяка взяла! – несется из кухни.

– Ге?! – настойчивее и смелее повторяет Иоська.

Кончается все это тем, что дверь с шумом растворяется, Иоська с быстротой ветра улепетывает подальше, на пороге появляется грозная мать с первым попавшимся поленом в руках, которое и летит вдогонку за блудным сыном.

Дело уже Иоськи увернуться от полена, но после этого путь к столу с обедками барской еды считается свободным. Иоська сразу сбрасывает свой скромный облик и с видом делового человека, которому некогда тратить время на пустые формальности, прямо и смело направляется к столу.

Если по дороге он все-таки получал иной раз легкую затрещину – он за этим не гнался и, огрызнувшись каким-нибудь упрямым звуком вроде «У-у!», энергично принимался за еду.

– Иеремей, Буланку закладывай! – кричит сверху нянька. – В дрожки!

– Кто едет? – кричит снизу встрепенувшийся Тёма.

– Папа и мама в город.

Это целое событие.

– Скоро едут? – спрашивает Тёма.

– Одеваются.

Тёма соображает, что отец торопится, значит, перед отъездом в сад не пойдет, и, следовательно, до возвращения родителей он свободен от всяких взысканий. Он чувствует мгновенный подъем духа и вдохновенно кричит:

– Иоська, игратья!

Он выбегает снова в сад и теперь смело и уверенно направляется к сестрам.

– Будем игратья! – кричит он, подбегая. – В индейцев?!

И Тёма от избытка чувств делает быстрый прыжок перед сестрами.

Пока бонна и сестры, под предводительством старшей сестры Зины, обсуждают его предложение, он уже рыщет, отыскивая подходящий материал для луков. Бежать к изгороди слишком далеко, хочется скорей, сейчас... Тёма выхватывает несколько прутьев, почему-то торчавших из бочки, пробует их гибкость, но они ломаются, не годятся.

– Тёма! – раздается дружный вопль.

Тёма замирает на мгновение.

– Это папины лозы! Что ты сделал?!

---

<sup>5</sup> Фланировать – разгуливать, прохаживаться без цели.

Но Тёма уже все и без этого сообразил: у него вихрем мелькает сознание необходимости протянуть время до отъезда, и он небрежно кричит:

– Знаю, знаю, папа приказал их выбросить – они не годятся!

И для большей убедительности он подбирает поломанные лозы и с помощью Иоськи несет их на черный двор. Зина подозрительно провожает его глазами, но Тёма искусно играет свою роль, идет тихо, не спеша, вплоть до самой калитки. Но за калиткой он быстро бросает лозы; отчаянье охватывает его. Он стремительно бежит, бежит от мрачных мыслей тяжелой развязки, от туч, неизвестно откуда скопляющихся над его горизонтом. Одно с мучительной ясностью стоит в голове: поскорее бы отец и мать уезжали.

Еремей с озабоченным видом стоит около дрожек, нерешительно чешет спину, мрачно смотрит на невымытый экипаж, на засохшую грязь и окончательно теряется от мысли, что теперь делать: начинать ли мыть, подмазывать ли или уж так запрягать. Тёма волнуется, хлопочет, тащит хомут, понуждает Еремея выводить лошадь, и Еремей под таким энергичным давлением начинает наконец запрягать.

– Не так, панычику, не так, – громко замечает флегматичный Еремей, тяготясь этой суетливой, бурной помощью.

Тёме кажется, что время идет невыносимо медленно.

Наконец экипаж готов.

Еремей надевает свой кучерской парусиновый кафтан с громадным сальным пятном на животе, клеенчатую с поломанными полями шляпу, садится на козлы, трогает, задевает обязательно за ворота, отделяющие грязный двор от чистого, и подкатывает к крыльцу. Время бесконечно тянется. Отчего они не выходят? Вдруг не поедут?! Тёма переживает мучительные минуты. Но вот парадные двери отворяются, выходят отец с матерью.

Отец, седой, хмурый по обыкновению, в белом кителе, что-то озабоченно соображает; мать в кринолине<sup>6</sup>, черных нитяных перчатках без пальцев, в шляпе с широкими черными лентами. Сестры бегут из сада. Мать наскоро крестит и целует их и спохватывается о Тёме; сестры ищут его глазами, но Тёма с Иоськой притаились за углом, и сестры говорят матери, что Тёма в саду.

– Будьте с ним ласковы.

Тёма, благоразумно решивший было не показываться, стремительно выскакивает из засады и стремительно бросается к матери. Если бы не отец, он сейчас бы ей все рассказал. Но он только особенно горячо целует ее.

– Ну, довольно! – говорит ласково мать и смутно соображает, что совесть Тёмы не совсем чиста. Но мысль о забытых ключах отвлекает ее. – Ключи, ключи! – говорит она, и все стремительно бросаются в комнаты за ключами.

Отец пренебрежительно косится на ласки сына и думает, что это воспитание выработает в конце концов из его сына какую-то противную слюнявку. Он срывает свое раздражение на Еремее.

– Буланка опять закована на правую переднюю ногу? – говорит он.

Еремей перегибается с козел и внимательно всматривается в отставленную ногу Буланки.

Тёма озабоченно следит за ними глазами. Еремей прокашливается и говорит каким-то поперхнувшимся голосом:

– Мабуть, оступився.

Ложь возмущает и бесит отца.

– Болван! – говорит он, точно выстреливает из ружья.

Еремей энергично откашливается, ерзает на козлах и молчит. Тёма не понимает, за что отец бранит Еремея, и тоскливое чувство охватывает его.

---

<sup>6</sup> Кринолин – широкая юбка на тонких стальных обручах, бывшая в моде в середине XIX века.

– Размазня, лентяй! Грязь развел такую, что сесть нельзя.

Тёма быстро окидывает взглядом экипаж.

Еремей невозмутимо молчит. Тёма видит, что Еремею нечего сказать, что отец прав, и, облегченно вздыхая, чувствует удовлетворение за отца.

Ключи принесли, мать и отец сидят в экипаже, Еремей подобрал вожжи, Настасья стоит у ворот.

– Трогай! – приказывает отец.

Мать крестит детей и говорит: «Тёма, не шали», и экипаж торжественно выкатывается на улицу. Когда же он исчезает из глаз, Тёма вдруг ощущает такой прилив радости, что ему хочется выкинуть что-нибудь такое, чтобы все, все – и сестры, и бонна, и Настасья, и Иоська – так и ахнули. Он стоит, несколько мгновений ищет в уме чего-нибудь подходящего и ничего другого не может придумать, как, стремглав выбежав на улицу, перерезать дорогу какому-то несущемуся экипажу. Раздается общий отчаянный вопль:

– Тёма, Тёма, куда?!

– Тёма-а! – несется пронзительный крик бонны и достигает чуткого уха матери.

Из облака пыли вдруг раздается голос матери, сразу все понявшей:

– Тёма, домой!

Тёма, успевший пробежать до половины дороги, останавливается, зажимает обеими руками рот, на мгновение замирает на месте, затем стремглав возвращается назад.

– А хочешь, я на Гнедке верхом поеду, как Еремей?! – мелькает в голове Тёмы новая идея, с которой он обращается к Зине.

– Ну да! Тебя Гнедко сбросит! – говорит пренебрежительно Зина.

Этого совершенно достаточно, чтоб у Тёмы явилось непреодолимое желание привести в исполнение свой план. Его сердце усиленно бьется и замирает от мысли, как поразятся все, когда увидят его верхом на Гнедке, и, выждав момент, он лихорадочно шепчет что-то Иоське. Они оба незаметно исчезают.

Препятствий нет.

В опустелой конюшне раздается ленивая, громкая еда Гнедка. Тёма дрожащими руками торопливо отвязывает повод. Красивый жеребец Гнедко пренебрежительно обнюхивает маленькую фигурку и нехотя плетется за тянущим его изо всей силы Тёмой.

– Но, но, – возбужденно понукает его Тёма, стараясь губами делать, как Еремей, когда тот выводит лошадь. Но от этого звука лошадь пугается, фыркает, задирает голову и не хочет выходить из низких дверей конюшни.

– Иоська, подгони ее сзади! – кричит Тёма.

Иоська лезет между ног лошади, но в это время Тёма опять кричит ему:

– Возьми кнут!

Получив удар, Гнедко стрелой вылетает из конюшни и едва не вырывается из рук Тёмы.

Тёма замечает, что Гнедко от удара кнутом взял сразу в галоп, и приказывает Иоське, когда он сядет, снова ударить лошадь.

Иоське одно удовольствие лишний раз хлестнуть лошадь.

Гнедко торжественно выводится с черного на чистый двор и подтягивается к близстоящей водовозной бочке. В последний момент к Иоське возвращается благоразумие.

– Упадете, панычику! – нерешительно говорит он.

– Ничего, – отвечает Тёма с пересохшим от волнения горлом. – Ты только, как я сяду, крепко ударь ее, чтоб она сразу в галоп пошла. Тогда легко сидеть!

Тёма, стоя на бочке, подбирает поводья, опирается руками на холку Гнедка и легко вспрыгивает ему на спину.

– Дети, смотрите! – кричит он, захлебываясь от удовольствия.

– Ай, ай, смотрите! – в ужасе взвизгивают сестры, бросаясь к ограде.

– Бей! – командует, не помня себя от восторга, Тёма.

Иоська изо всей силы вытягивает кнутом жеребца. Лошадь как ужаленная мгновенно подбирается и делает первый произвольный скачок к улице, куда мордой она была поставлена, но затем, сообразив, она взвивается на дыбы, круто на задних ногах делает поворот и полным карьером несется назад в конюшню.



Тёме, каким-то чудом удержавшемуся при этом маневре, некогда рассуждать. Пред ним ворота черного двора; он вовремя успевает наклонить голову, чтобы не разбить ее о перекладину, и вихрем влетает на черный двор.

Здесь ужас его положения обрисовывается ему с неумолимою ясностью.

Он видит в десяти саженьях перед собой высокую каменную стену конюшни и маленькую темную отворенную дверь и сознает, что разобьется о стену, если лошадь влетит в конюшню. Инстинкт самосохранения удесятеряет его силы, он натягивает, как может, левый повод, лошадь сворачивает с прямого пути, налетает на торчащее дышло, спотыкается, падает с маху на землю, а Тёма летит дальше и расплывается у самой стены, на мягкой, теплой куче навоза. Лошадь вскакивает и влетает в конюшню. Тёма тоже вскакивает, запирает за нею дверь и оглядывается.

Теперь, когда все благополучно миновало, ему хочется плакать, но он видит в воротах бонну, сестер и соображает по их вытянувшимся лицам, что они все видели. Он бодрится, но руки его дрожат; на нем лица нет, улыбка выходит какой-то жалкой, болезненной гримасой.

Град упреков сыплется на его голову, но в этих упреках он чувствует некоторое уважение к себе, удивление к его молодечеству и мирится с упреками. Непривычная мягкость, с какой Тёма принимает выговоры, успокаивает всех.

– Ты испугался? – пристает к нему Зина, – ты бледен, как стена, выпей воды, помочи голову.

Тёму торжественно ведут опять к бочке и мочат голову. Между ним, бонной и сестрой устанавливаются дружеские, миролюбивые отношения.

– Тёма, – говорит ласково Зина, – будь умным мальчиком, не распускай себя. Ты ведь знаешь свой характер, ты видишь: стоит тебе разойтись, тогда уж ты не удержишь себя и наде- лаешь чего-нибудь такого, чему и сам не будешь рад потом.

Зина говорит ласково, мягко, – просит.

Тёме это приятно, он сознает, что в словах сестры все – голая правда, и говорит:

– Хорошо, я не буду шалить.

Но маленькая Зина, хотя на год всего старше своего брата, уже понимает, как тяжело будет брату сдержать свое слово.

– Знаешь, Тёма, – говорит она как можно вкрадчивее, – ты лучше всего дай себе слово, что ты не будешь шалить. Скажи: любя папу и маму, я не буду шалить.

Тёма морщится.

– Тёма, тебе же лучше! – подъезжает Зина. – Ведь никогда еще папа и мама не приезжали без того, чтобы не наказать тебя. И вдруг приедут сегодня и узнают, что ты не шалил.

Просительная форма подкупает Тёму.

– Как люблю папу и маму, я не буду шалить.

– Ну, вот умница, – говорит Зина. – Смотри же, Тёма, – уже строгим голосом продолжает сестра, – грех тебе будет, если ты обманешь. И даже потихоньку нельзя шалить, потому что Господь все видит, и если папа и мама не накажут, Бог все равно накажет.

– Но играть можно?

– Все то можно, что фрейлейн<sup>7</sup> скажет: можно, а что фрейлейн скажет: нельзя, то уже грех.

Тёма недоверчиво смотрит на бонну и насмешливо спрашивает:

– Значит, фрейлейн святая?

– Вот видишь, ты уж глупости говоришь! – замечает сестра.

– Ну, хорошо! будем играть в индейцев! – говорит Тёма.

– Нет, в индейцев опасно без мамы, ты разойдешься.

– А я хочу в индейцев! – настаивает Тёма, и в его голосе слышится капризное раздра- жение.

---

<sup>7</sup> Фрейлейн – обращение к девушке (нем.). В дореволюционной России название воспитательницы-немки (бонны) в бога- тых семьях.

– Ну, хорошо! спроси у фрейлейн, ведь ты обещал, как папу и маму любишь, слушаться фрейлейн?

Зина становится так, чтобы только фрейлейн видела ее лицо, а Тёма – нет.

– Фрейлейн, правда в индейцев играть не надо?

Тёма все же таки видит, как Зина делает невозможные гримасы фрейлейн; он смеется и кричит:

– Э, так нельзя!

Он бросается к фрейлейн, хватая ее за платье и старается повернуть от сестры. Фрейлейн смеется.

Зина энергично подбегает к брату, кричит:

«Оставь фрейлейн», а сама в то же время старается стать так, чтобы фрейлейн видела ее лицо, а брат не видел. Тёма понимает маневр, хохочет, хватая за платье сестру и делает попытку поворотить ее лицо к себе.

– Пусти! – отчаянно кричит сестра и тянет свое платье.

Тёма еще больше хохочет и не выпускает сестрино платье, держась другой рукой за платье бонны. Зина вырывается изо всей силы. Вдруг юбка фрейлейн с шумом разрывается пополам, и взбешенная бонна кричит:

– Думмер кнабе!..<sup>8</sup>

Тёма считает, что, кроме матери и отца, никто не смеет его ругать. Озадаченный и сконфуженный неожиданным оборотом дела, но возмущенный, он, не задумываясь, отвечает:

– Ты сама!

– Ах! – взвизгивает фрейлейн.

– Тёма, что ты сказал?! – подлетает сестра. – Ты знаешь, как тебе за это достанется?! Проси сейчас прощения!!

Но требование – плохое оружие с Тёмой; он окончательно упирается и отказывается просить прощения. Доводы не действуют.

– Так ты не хочешь?! – угрожающим голосом спрашивает Зина.

Тёма трусит, но самолюбие берет верх.

– Так вот что, уйдем от него все, пусть он один остается.

Все, кроме Иоськи, уходят от Тёмы.

Сестра идет и беспрестанно оглядывается: не раскаялся ли Тёма. Но Тёма явного раскаяния не обнаруживает. Хотя сестра и видит, что Тёму кошки скребут, но этого, по ее мнению, мало. Ее раздражает упорство Тёмы. Она чувствует, что еще капельку – и Тёма сдастся. Она быстро возвращается, хватая Иоську за рукав и говорит повелительно:

– Уходи и ты, пусть он совсем один останется.

Неудачный маневр.

Тёма кидается на нее, толкает так, что она летит на землю, и кричит:

– Убирайся к черту!

Зина испускает страшный вопль, поднимается на руки, некоторое время не может продолжать кричать от схвативших ее горловых спазмов и только судорожно поводит глазами.

Тёма в ужасе пятится. Зина испускает наконец новый отчаянный крик, но на этот раз Тёме кажется, что крик не совсем естественный, и он говорит:

– Притворяйся, притворяйся!

Зину поднимают и уводят; она хроает. Тёма внимательно следит и остается в мучительной неизвестности: действительно ли Зина хроает или только притворяется.

– Пойдем, Иоська! – говорит он, подавляя вздох.

Но Иоська говорит, что он боится и уйдет на кухню.

---

<sup>8</sup> Глупый мальчик! (нем.)

– Иоська, – говорит Тёма, – не бойся; я все сам расскажу маме.

Но кредит<sup>9</sup> Тёмы в глазах Иоськи подорван. Он молчит, и Тёма чувствует, что Иоська ему не верит. Тёма не может остаться без поддержки друга в такую тяжелую для себя минуту.

– Иоська, – говорит он взволнованно, – если ты не уйдешь от меня, я после завтрака принесу тебе сахару.

Это меняет положение вещей.

– Сколько кусков? – спрашивает нерешительно Иоська.

– Два, три, – обещает Тёма.

– А куда пойдем?

– За горку! – отвечает Тёма, выбирая самый дальний угол сада. Он понимает, что Иоська не желал бы теперь встретиться с барышнями.

Они огибают двор, перелезают ограду и идут по самой отдаленной дорожке.

Тёма взволнован и переполнен всевозможными чувствами.

– Иоська, – говорит он, – какой ты счастливый, что у тебя нет сестер. Я хотел бы, чтобы у меня ни одной сестры не было. Если б они умерли все вдруг, я ни капельки не плакал бы о них. Знаешь: я попросил бы, чтобы тебя сделали моим братом. Хорошо?!

Иоська молчит.

– Иоська, – продолжает Тёма, – я тебя ужасно люблю... так люблю, что... что хочешь со мной делай...

Тёма напряженно думает, чем доказать Иоське свою любовь.

– Хочешь, зарой меня в землю... или, хочешь, плюнь на меня.

Иоська озадаченно глядит на Тёму.

– Милый, голубчик, плюнь... Милый, дорогой...

Тёма бросается Иоське на шею, целует его, обнимает и умоляет плюнуть.

После долгих колебаний Иоська осторожно плюет на кончик Тёминой рубахи.

Край рубахи с плевком Тёма поднимает к лицу и растирает по своей щеке.

Иоська пораженно и сконфуженно смотрит...

Тёма убежденно говорит:

– Вот... вот как я тебя люблю!

Друзья подходят к кладбищенской стене, отделяющей дом от старого, заброшенного кладбища.

– Иоська, ты боишься мертвецов? – спрашивает Тёма.

– Боюсь, – говорит Иоська.

Тёма предпочел бы похвастаться тем, что он ничего не боится, потому что его отец ничего не боится и что он хочет ничего не бояться, но в такую торжественную минуту он чистосердечно признается, что тоже боится.

– Кто ж их не боится? – раздражается красноречивой тирадой<sup>10</sup> Иоська. – Тут хоть самый первый генерал приди, как *они* ночью повылазят да рассядутся по стенкам, так и тот убежит. Всякий убежит. Тут побежишь, как за ноги да за плечи тебя хватать станет или вскочит на тебя, да, и ну колотить ногами, чтобы вез *его*, да еще перегнется, да зубы и оскалит; у другого половина лица выгнила, глаз нет. Тут забоишься! Хоть какой, и то...

– Артемий Николаич, завтракать! – раздается по саду молодой, звонкий голос горничной Тани.

Из-за деревьев мелькает платье Тани.

– Пожалуйста завтракать, – говорит горничная, ласково и фамильярно обхватывая Тёму.

---

<sup>9</sup> Кредит – здесь: доверие к кому-либо, авторитет.

<sup>10</sup> Тирада – здесь: длинная фраза.

Таня любит Тёму. Она в чистом, светлом ситцевом платье; от нее несет свежестью, густая коса ее аккуратно расчесана, добрые карие глаза смотрят весело и мягко.

Она дружелюбно ведет за плечи Тёму, наклоняется к его уху и веселым шепотом говорит:  
– Немка плакала!

Немку, несмотря на ее полную безбидность, прислуга не любит.

Тёма вспоминает, что в его столкновении с бонной у него союзники вся дворня, – это ему приятно, он чувствует подъем духа.

– Она назвала меня дураком, разве она смеет?

– Конечно, не смеет. Папаша ваш генерал, а она что? Дрянь какая-то. Зазналась.

– Правда, когда я маме скажу все – меня не накажут?

Таня не хочет огорчать Тёму; она еще раз наклоняется и еще раз его целует, гладит его густые золотистые волосы.

За завтраком обычная история. Тёма почти ничего не ест. Перед ним лежит на тарелке котлетка, он косится на нее и лениво пощипывает хлеб. Так как с ним никто не говорит, то обязанность уговаривать его есть добровольно берет на себя Таня.

– Артемий Николаич, кушайте!

Тёма только сдвигает брови.

В Зине борется гнев к Тёме с желанием, чтобы он ел.

Она смотрит в окошко и, ни к кому особенно не обращаясь, говорит:

– Кажется, мама едет!

– Артемий Николаич, скорей кушайте, – шепчет испуганно Таня.

Тёма в первое мгновение поддается на удочку и хватает вилку, но, убедившись, что тревога ложная, опять кладет вилку на стол.

Зина снова смотрит в окно и замечает:

– После завтрака всем, кто хорошо ел, будет сладкое.

Тёме хочется сладкого, но не хочется котлеты.

Он начинает привередничать. Ему хочется налить на котлетку прованского масла.

Таня уговаривает его, что масло не идет к котлетке.

Но ему именно так хочется, и, так как ему не дают судка с маслом, он сам лезет за ним. Зина не выдерживает: она не может переваривать его капризов, быстро вскакивает, хватается за судок с маслом и держит его в руке под столом.

Тёма садится на место и делает вид, что забыл о масле. Зина зорко следит и наконец ставит судок на стол, возле себя. Но Тёма улавливает подходящий момент, стремительно бросается к судку. Зина схватывает с другой стороны, и судок летит на пол, разбиваясь вдребезги.

– Это ты! – кричит сестра.

– Нет, ты!

– Это тебя Бог наказал за то, что ты папу и маму не любишь.

– Неправда, я люблю! – кричит Тёма.

– Ласен зи инен<sup>11</sup>, – говорит бонна и встает из-за стола.

За ней встают все, и начинается раздача пастилы. Когда очередь доходит до Тёмы, бонна колеблется. Наконец она отламывает меньшую против других порцию и молча кладет перед Тёмой.

Тёма возмущенно толкает свою порцию, и она летит на пол.

– Очень мило, – говорит Зина. – Мама все будет знать!

Тёма молчит и начинает ходить по комнате. Зину интересует: отчего сегодня Тёма не убегает, по обыкновению, сейчас после завтрака. Сначала она думает, что Тёма хочет просить

---

<sup>11</sup> Оставьте его! (нем.)

прощения у бонны, и уже вступает в свои права: она доказывает, что теперь уже поздно, что после этого сделано еще столько...

– Убирайся вон! – перебивает грубо Тёма.

– И это мама будет знать! – говорит Зина и окончательно становится в тупик: зачем он не уходит?

Тёма продолжает упорно ходить по комнате и наконец достигает своего: все уходят, он остается один. Тогда он мгновенно кидается к сахарнице и запускает в нее руку...

Дверь отворяется. На пороге появляются бонна и Зина. Он бросает сахарницу и стремглав выскакивает на террасу.

Теперь все погребло! Такой поступок, как воровство, даже мать не простит!

К довершению несчастья собирается гроза. По небу полезли со всех сторон тяжелые грозовые тучи; солнце исчезло; как-то сразу потемнело; в воздухе запахло дождем. Ослепительной змейкой блеснула молния, над самой головой оглушительными раскатами прокатился гром. На минуту все стихло, точно притаилось, выжидая. Что-то зашумело – ближе, ближе, и первые тяжелые, большие капли дождя упали на землю. Через несколько мгновений все превратилось в сплошную серую массу. Целые реки полились сверху. Была настоящая южная гроза.

Волей-неволей надо бежать в комнаты, и так как вход туда Иоське воспрещен, то Тёме приходится остаться одному, наедине со своими грустными мыслями.

Скучно. Время бесконечно тянется.

Тёма уселся на окне в детской и уныло следил, как потоки воды стекали по стеклам, как постепенно двор наполнялся лужами, как пузырьки и пузыри точно прыгали по мутной и грязной поверхности.

– Артемий Николаич, кушать хотите? – спросила, появляясь в дверях, Таня.

Тёме давно хотелось есть, но ему было лень оторваться.

– Хорошо, только сюда принеси хлеба и масла.

– А котлетку?

Тёма отрицательно замотал головой.

В ожидании Тёма продолжал смотреть в окно. Потому ли, что ему не хотелось оставаться наедине со своими мыслями, потому ли, что ему было скучно и он придумывал, чем бы ему еще развлечься, или наконец по общечеловеческому свойству вспоминать о своих друзьях в тяжелые минуты жизни, Тёма вдруг вспомнил о своей Жучке. Он вспомнил, что целый день не видал ее. Жучка никогда никуда не отлучалась.

Тёме пришли вдруг в голову таинственные недружелюбные намеки Акима, не любившего Жучку за то, что она таскала у него провизию. Подозрение закралось в его душу. Он быстро слез с окна, пробежал детскую, соседнюю комнату и стал спускаться по крутой лестнице, ведущей в кухню. Этот ход был строго-настрого воспрещен Тёме (за исключением, когда бралась ванна), ввиду возможности падения, но теперь Тёме было не до того.

– Аким, где Жучка? – спросил Тёма, войдя в кухню.

– А я откуда знаю? – отвечал Аким, тряхнув своими курчавыми волосами.

– Ты не убивал ее?

– Ну вот, стану я руки марать об этакую дрянь.

– Ты говорил, что убьешь ее?

– Ну! А вы и поверили? так, шутил.

И, помолчав немного, Аким проговорил самым естественным голосом:

– Лежит где-нибудь, притаившись от дождя.

Да вы разве ее не видали сегодня?

– Нет, не видал.

– Не знаю. Польстился разве кто, украл?

Тёма было совсем поверил Акиму, но последнее предположение опять смутило его.

- Кто же ее украдет? Кому она нужна? – спросил он.
- Да никому, положим, – согласился Аким. – Дрянная собачонка.
- Побожись, что ты ее не убил! – И Тёма впился глазами в Акима.
- Да что вы, панычику? Да ей-богу же, я ее не убивал! Что ж вы мне не верите?
- Тёме стало неловко, и он проговорил, ни к кому особенно не обращаясь:
- Куда ж она девалась?

И так как ответа никакого не последовало, то Тёма, оглянувши еще раз Акима и всех присутствовавших, причем заметил лукавый взгляд Иоськи, свесившегося с печки и с любопытством наблюдавшего всю сцену, – возвратился наверх.

Он опять уселся на окно в детской и все думал: куда могла деваться Жучка?

Перед ним живо рисовалась Жучка, тихая, безобидная Жучка, и мысль, что ее могли убить, наполнила его сердце такой горечью, что он не выдержал, отворил окно и стал звать изо всей силы:

– Жучка, Жучка! На, на, на! Цу-цу! Цу-цу! Фью, фью, фью!

В комнату ворвался шум дождя и свежий сырой воздух. Жучка не отзывалась.

Все неудачи дня, все пережитые невзгоды, все предстоящие ужасы и муки, как возмездие за сделанное, отодвинулись на задний план перед этой новой бедой: лишиться Жучки.

Мысль, что он больше не увидит своей курчавой Жучки, не увидит больше, как она при его появлении будет жалостно визжать и ползти к нему на брюхе, мысль, что, может быть, уже больше ее нет на свете, переполняла душу Тёмы отчаянием, и он тоскливо продолжал кричать:

– Жучка! Жучка!

Голос его дрожал и вибрировал, звучал так нежно и трогательно, что Жучка должна была отозваться. Но ответа не было.

Что делать?! Надо немедленно искать Жучку.

Вошедшая Таня принесла хлеб.

– Подожди, я сейчас приду.

Тёма опять спустился по лестнице, которая вела на кухню, осторожно пробрался мимо дверей, узким коридором достиг выхода, некоторое время постоял в раздумье и выбежал во двор.

Осмотрев черный двор, он заглянул во все любимые закоулки Жучки, но Жучки нигде не было. Последняя надежда! Он бросился к воротам заглянуть в будку цепной собаки. Но у самых ворот Тёма услышал шум колес подъехавшего экипажа и, прежде чем что-нибудь сообщить, столкнулся лицом к лицу с отцом, отворявшим калитку. Тёма опрометью бросился к дому.



## II. Наказание



Коротенькое следствие обнаруживает, по мнению отца, полную несостоятельность системы воспитания сына. Может быть, для девочек она и годится, но натуры мальчика и девочки – вещи разные. Он по опыту знает, что такое мальчик и чего ему надо. Система?! Дрянь, тряпка, негодяй выйдет по этой системе. Факты налицо, грустные факты – воровать начал. Чего еще дожидаться?! Публичного позора?! Так прежде он сам его своими руками задушит. Под тяжестью этих доводов мать уступает, и власть на время переходит к отцу.

Двери кабинета плотно затворяются.

Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно отказываются служить, он топчется, чтобы не упасть. Мысли вихрем, с ужасающей быстротой несутся в его голове. Он напрягается изо всех сил, чтобы вспомнить то, что он хотел сказать отцу, когда стоял перед цветком. Надо торопиться. Он глотает слюну, чтобы смочить пересохшее горло, и хочет говорить прочувствованным, убедительным тоном:

– Милый папа, я придумал... я знаю, что я виноват... Я придумал: отруби мои руки!..

Увы! то, что казалось так хорошо и убедительно там, когда он стоял перед сломанным цветком, здесь выходит очень неубедительно. Тёма чувствует это и прибавляет для усиления впечатления новую, только что пришедшую ему в голову комбинацию:

– Или отдай меня разбойникам!

– Ладно, – говорит сурово отец, окончив необходимые приготовления и направляясь к сыну. – Расстегни штаны...

Это что-то новое?! Ужас охватывает душу мальчика; руки его, дрожа, разыскивают торопливо пуговицы штанишек; он испытывает какое-то болезненное замирание, мучительно роется в себе, что еще сказать, и наконец голосом, полным испуга и мольбы, быстро, несвязно и горячо говорит:

– Милый мой, дорогой, голубчик... Папа! Папа! Голубчик... Папа, милый папа, стой! Папа?! Ай, ай, ай! Аяяяй!..

Удары сыплются. Тёма извивается, визжит, ловит сухую, жилистую руку, страстно целует ее, молит. Но что-то другое рядом с мольбой растет в его душе. Не целовать, а бить, кусать хочется ему эту противную, гадкую руку. Ненависть, какая-то дикая, жгучая злоба охватывает его.

Он бешено рвется, но железные тиски еще крепче сжимают его.

– Противный, гадкий, я тебя не люблю! – кричит он с бессильной злобой.

– Полюбишь!

Тёма яростно впивается зубами в руку отца.

– Ах ты змееныш?!

И ловким поворотом Тёма на диване, голова его в подушке. Одна рука придерживает, а другая продолжает хлестать извивающегося, рычащего Тёму.

Удары глухо сыплются один за другим, отмечая рубец за рубцом на маленьком посинелом теле.

С помертвелым лицом ждет мать исхода, сидя одна в гостиной. Каждый вопль рвет ее за самое сердце, каждый удар терзает до самого дна ее душу.

Ах! Зачем она опять дала себя убедить, зачем связала себя словом не вмешиваться и ждать?

Но разве он смел так связать ее словом?! И наконец он сам увлекающийся, он может не заметить, как забьет мальчика! Боже мой! Что это за хрип?!

Ужас наполняет душу матери.

– Довольно, довольно! – кричит она, врываясь в кабинет. – Довольно!!

– Полюбуйся, каков твой звереныш! – сует ей отец прокушенный палец.

Но она не видит этого пальца. Она с ужасом смотрит на диван, откуда слезает в это время растрепанный, жалкий, огаженный звереныш и дико, с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу. Мучительная боль пронизывает мать. Горьким чувством звучат ее слова, когда она говорит мужу:

– И это воспитание?! Это знание натуры мальчика?! Превратить в жалкого идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство – это воспитание?!

Желчь охватывает ее. Вся кровь приливает к ее сердцу. Острой, тонкой сталью впивается ее голос в мужа:

– О жалкий воспитатель! Щенков вам дрессировать, а не людей воспитывать!

– Вон! – ревет отец.

– Да, я уйду, – говорит мать, останавливаясь в дверях, – но объявляю вам, что через мой труп вы перешагнете прежде, чем я позволю вам еще раз высечь мальчика.

Отец не может прийти в себя от неожиданности и негодования. Не скоро успокаивается он и долго еще мрачно ходит по комнате, пока наконец не останавливается возле окна, рассеянно всматривается в заволакиваемую ранними сумерками серую даль и возмущенно шепчет:

– Ну, извольте вы тут с бабами воспитывать мальчика!



### III. Прощение



В то же время мать проходит в детскую, окидывает ее быстрым взглядом, убеждается, что Тёмы здесь нет, идет дальше, пытливно всматривается на ходу в отворенную дверь маленькой комнаты, замечает в ней маленькую фигурку Тёмы, лежащего на диване с уткнувшимся лицом, проходит в столовую, отворяет дверь в спальную и сейчас же плотно затворяет ее за собой.

Оставшись одна, она тоже подходит к окну, смотрит и не видит темнеющую улицу. Мысли роem носятся в ее голове.

Пусть Тёма так и лежит, пусть придет в себя, надо его теперь совершенно предоставить себе... Белье бы переменить... Ах, Боже мой, Боже мой, какая страшная ошибка, как могла она допустить это! Какая гнусная гадость! Точно ребенок сознательный негодяй! Как не понять, что если он делает глупости, шалости, то делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости. Указать ему эту дурную сторону, не с своей, конечно, точки зрения взрослого человека, с его, детской, не себя убедить, а его убедить, задеть самолюбие, опять-таки его детское самолюбие, его слабую сторону, суметь добиться этого – вот задача правильного воспитания.

Сколько времени надо, пока все это опять войдет в колею, пока ей удастся опять подобрать все эти тонкие, неуловимые нити, которые связывают ее с мальчиком, нити, которыми она втягивает, так сказать, этот живой огонь в рамки повседневной жизни, втягивает, щадя и рамки, щадя и силу огня – огня, который со временем ярко согреет жизнь соприкоснувшихся с ним людей, за который тепло поблагодарят ее когда-нибудь люди. Он, муж, конечно, смотрит с точки зрения своей солдатской дисциплины, его самого так воспитывали, ну и сам он готов сплеча обрубить все сучки и задоринки молодого деревца, обрубить, даже не сознавая, что рубит с ними будущие ветки...

Няня маленькой Ани просовывает свою по-русски повязанную голову.

– Аню перекрестить...

– Давай! – И мать крестит девочку.

– Артемий Николаевич в комнате? – спрашивает она няню.

– Сидят у окошка.

– Свечка есть?

– Потушили. Так в темноте сидят.

– Заходила к нему?

– Заходила... Куды!.. Эх!.. – Но няня удерживается, зная, что барыня не любит нытья.

– А больше никто не заходил?

– Таня еще... кушать носила.

– Ел?

– И-и! Боже упаси, и смотреть не стал... Целый день не евши. За завтраком маковой росинки не взял в рот.

Няня вздыхает и, понижая голос, говорит:

– Белье бы ему переменить да обмыть... Это ему, поди, теперь пуще всего зазорно...

– Ты говорила ему о белье?

– Нет... Куда!.. Как только наклонилась было, а он этак плечиками как саданет меня...

Вот Таню разве послушает...

– Ничего не надо говорить... Никто ничего не замечайте... Прикажи, чтобы приготовили обе ванны поскорее для всех, кроме Ани... Позови бонну... Смотри, никакого внимания...

– Будьте спокойны, – говорит сочувствующим голосом няня.

Входит фрейлейн.

Она очень жалеет, что все так случилось, но с мальчиком ничего нельзя было сделать...

– Сегодня дети берут ванну, – сухо перебивает мать. – Двадцать два градуса.

– Зер гут<sup>12</sup>, мадам<sup>13</sup>, – говорит фрейлейн и делает книксен<sup>14</sup>.

Она чувствует, что мадам недовольна, но ее совесть чиста. Она не виновата; фрейлейн Зина свидетельница, что с мальчиком нельзя было справиться. Мадам молчит; бонна знает, что это значит. Это значит, что ее оправдания не приняты. Хотя она очень дорожит местом, но ее совесть спокойна. И, в сознании своей невинности, она скромно, но с чувством оскорбленного достоинства берется за ручку.

– Позовите Таню.

– Зер гут, мадам, – отвечает бонна и уже за дверями делает книксен.

В последней нотке мадам бонна услышала что-то такое, что возвращает ей надежду удержаться за собой место, и она воскресшим голосом говорит:

– Таню, бариня идите!

Таня оправляется и входит в спальню.

Таня всегда купает Тёму. Летом, в те дни, когда детей не мылили, ему разрешалось самому купаться, без помощи Тани, и это доставляло Тёме всегда громадное удовольствие: он купался, как папа, один.

– Если Артемий Николаевич пожелает купаться один, пусть купается. Перед тем как вести его в ванную, положи на стол кусок хлеба – не отрезанный, а так, отломанный, как будто нечаянно его забыли. Понимаешь?

Таня давно все поняла и весело и ласково отвечает:

– Понимаю, сударыня!

---

<sup>12</sup> Очень хорошо (*нем.*).

<sup>13</sup> Мадам – госпожа; обращение к замужней женщине во Франции, принятое и в других странах (*фр.*).

<sup>14</sup> Книксен – почтительный поклон с приседанием.

– Купаться будут все; сначала барышни, а потом Артемий Николаевич. Ванну на двадцать два градуса. Ступай!

Но тотчас же мать снова позвала Таню и прибавила:

– Таня, перед тем как поведешь Артемия Николаевича, убавь в ванной свет в лампе так, чтобы был полумрак. И поведешь его не через детскую, а прямо через девичью<sup>15</sup>... И чтоб никого в это время не было, когда он будет идти. В девичьей тоже убавь свет.

– Слушаю-с.

Купанье – всегда событие, и всегда приятное. Но на этот раз в детской оживление слабое. Дети находятся под влиянием наказания брата, а главное – нет поджигателя обычного возбуждения, Тёмы. Дети идут как-то лениво, купанье какое-то неудачное, поспешное, и через двадцать минут они уже, в белых чепчиках, гуськом возвращаются назад в детскую.

Под дыханием мягкой южной ночи мать Тёмы возбужденно ходит по комнате.

По свойству своей оптимистической натуры<sup>16</sup> она не хочет больше думать о настоящем: оно будет исправлено, ошибка не повторится, и довольно.

Чтобы развлечь себя, она вышла на террасу подышать свежим воздухом.

Она видит в окно возвращающееся из ванной шествие и останавливается.

Вот впереди идет Зина – требовательный к себе и другим, суровый, жгучий исполнитель воли. Девочка загадочно, непреклонно смотрит своими черными, как ночь юга, глазами и точно видит уже где-то далеко какой-то ей одной ведомый мир.

Вот тихая, сосредоточенная, болезненная Наташа смотрит своими вдумчивыми глазами, пытливо чуя и отыскивая те тонкие, неуловимые звуки, которые, собранные терпеливо и нежно, чудно зазвучат со временем близким сладкою песнью любви и страданий.

Вот Маня – ясное майское утро, готовая всех согреть, осветить своими блестящими глазками.

Сережик – «глубокий философ», маленький Сережик, только что начинающий настраивать свой сложный маленький механизм, только что пробующий трогать его струны и чутко прислушивающийся к этим тонким, протяжным отзвучьям, – невольно манит к себе.

– Эт-та что? – медленно, певуче тянет он и так же медленно подымает свой маленький пальчик.

– Синее небо, мой милый.

– Эт-та что?

– Небо, мой крошка, небо, малютка, недостижимое синее небо, куда вечно люди смотрят, но вечно ходят по земле.

Вот и Аня поднялась с своей кровати навстречу идущим – крошечная Аня, маленький вопросительный знак, с теплыми веселыми глазками.

А вот промелькнула в девичьей фигура ее набедокурившего баловня – живого, как огонь, подвижного, как ртуть, неуравновешенного, вечно взбудораженного, возбужденного, впечатлительного, безрассудного сына. Но в этой сутолоке чувств сидит горячее сердце.

Продолжая гулять, мать обошла террасу и пошла к ванной.

Шествие при входе в детскую заключает маленький Сережик, с откинутыми ручонками, как-то потешно ковыляющий на своих коротеньких ножках.

– А папа Тёму би-й, – говорит он, вспоминая почему-то о наказании брата.

– Тс! – подлетает к нему стремительно Зина, строго соблюдавшая установленное матерью правило, что о наказаниях, постигших виновных, не имеют права вспоминать.

---

<sup>15</sup> Девичья – комната для служанок (горничных) в богатых барских домах.

<sup>16</sup> Оптимистическая натура – человек с оптимистическим характером, который во всем в жизни видит хорошие стороны, всегда верит в успех дела.

Но Сережик еще слишком мал. Он знать не желает никаких правил и потому снова начинает:

– А папа...

– Молчи! – зажимает ему рот Зина.

Сережик уже собирает в хорошо ему знакомую гримасу лицо, но Зина начинает быстро, горячо нашептывать брату что-то на ухо, указывая на двери соседней комнаты, где сидит Тёма. Сережик долго недоверчиво смотрит, не решаясь распротиться с сделанной гримасой и извлечь из нее готовый уже вопль, но в конце концов уступает сестре, идет на компромисс<sup>17</sup> и соглашается смотреть картинки зоологического атласа.

– Артемий Николаич, пожалуйста! – говорит веселым голосом Таня, отворяя дверь маленькой комнаты со стороны девичьей.

Тёма молча встает и стесненно проходит мимо Тани.

– Одни или со мной? – беспечно спрашивает она вдогонку.

– Один, – отвечает быстро, уклончиво Тёма и спешит пройти девичью.

Он рад полумраку. Он облегченно вздыхает, когда затворяет за собой дверь ванной. Он быстро раздевается и лезет в ванну. Обмывшись, он вылезает, берет свое грязное белье и начинает полоскать его в ванне. Ему кажется, он умер бы со стыда, если бы кто-нибудь узнал, в чем дело; пусть лучше будет мокрое. Кончив свою стирку, Тёма скомкивает в узел белье и ищет глазами, куда бы его сунуть; он засовывает наконец свой узел за старый, запыленный комод. Успокоенный, он идет одеваться, и глаза его наталкиваются на кусок, очевидно, забытого кем-то хлеба. Мальчик с жадностью кидается на него, так как целый день ничего не ел. Годы берут свое: он сидит на скамейке, болтает ножонками и с наслаждением ест. Всю эту сцену видит мать и взволнованно отходит от окна. Она гонит от себя впечатление этой сцены, потому что чувствует, что готова расплакаться. Она освежает лицо, поворачиваясь навстречу мягкому южному ветру, стараясь ни о чем не думать.

Кончив есть, Тёма встал и вышел в коридор. Он подошел к лестнице, ведущей в комнаты, остановился на мгновение, подумал, прошел мимо по коридору и, поднявшись на крыльцо, нерешительно вполголоса позвал:

– Жучка, Жучка!

Он подождал, послушал, вдохнул в себя аромат масличного дерева, потянулся за ним и, выйдя во двор, стал пробираться к саду.

Страшно! Он прижался лицом между двух стоек ограды и замер, охваченный весь каким-то болезненным утомлением.

Ночь после бури.

Чем-то волшебным рисуется в серебристом сиянии луны сад. Разорванно пробегают в далеком голубом небе последние влажные облака. Ветер точно играет в пустом пространстве между садом и небом. Беседка задумчиво смотрит на горке. А вдруг мертвецы, соскучившись сидеть на стене, забрались в беседку и смотрят оттуда на Тёму? Как-то таинственно-страшно молчат дорожки. Деревья шумят, точно шепчут друг другу: «Как страшно в саду». Вот что-то черное беззвучно будто мелькнуло в кустах: на Жучку похоже! А может быть, Жучки давно и нет?! Как жутко вдруг стало. А там что белеет?! Кто-то идет по террасе.

– Артемий Николаич, – говорит, отворяя калитку и подходя к нему, Таня, – спать пора.

Тёма точно просыпается.

Он не прочь, он устал, но перед сном надо идти прощаться, надо пожелать спокойной ночи маме и папе. Ох, как не хочется! Он сжал судорожно крепко руками перила ограды и еще плотнее прильнул к ним лицом.

---

<sup>17</sup> Компромисс – соглашение, которое достигается путем взаимных уступок.

– Артемий Николаич, Тёмочка, милый мой барин, – говорит Таня и целует руки Тёмы, – идите к мамаше! Идите, мой милый, дорогой, – говорит она, мягко отрывая и увлекая его за собой, осыпая на ходу поцелуями...



Он в спальне у матери.

Только лампадка льет из киота свой неровный, трепетный свет, слабо освещая предметы.

Он стоит на ковре. Перед ним в кресле сидит мать и что-то говорит ему. Тёма точно во сне слушает ее слова, они безучастно летают где-то возле его уха. Зато на маленькую Зину, подслушивающую у двери, речь матери бесконечно сильно действует своею убедительностью. Она не выдерживает больше и, когда до нее долетают вдруг слова матери: «... а если тебе не жаль, значит, ты не любишь маму и папу», врывается в спальню и начинает горячо:

– Я говорила ему...

– Как ты смела, скверная девчонка, подслушивать?!

И «скверная девчонка», подхваченная за руку, исчезает мгновенно за дверью. Это изгнание его маленького врага пробуждает Тёму. Он опять живет всеми нервами своего организма.

Все горе дня встает перед ним. Он весь проникается сознанием зла, нанесенного ему сестрой. Обидное чувство, что его никто не хочет выслушать, что к нему несправедливы, охватывает его.

– Все только слушают Зину... Все целый день на меня нападают, меня никто не-е любит и никто не хо-о-чет вы-ы-слу-у...

И Тёма горько плачет, закрывая руками лицо.

Долго плачет Тёма, но горечь уже вылита.

Он передал матери всю повесть грустного дня, как она слагалась роковым образом. Его глаза распухли от слез; он нервно вздрагивает и нет-нет всхлипывает тройным вздохом. Мать, сидя с ним на диване, ласково гладит его густые волосы и говорит ему:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.